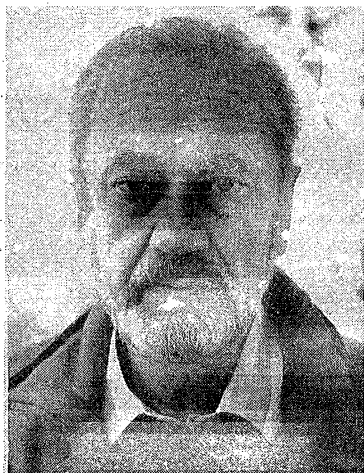


ГЛЕБ ГОРЫШИН



ТРИ РАССКАЗА

## ГРИБЫ ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ

С утра сеял обложной мелкий дождь, я поглядывал в окно, ждал у моря погоды. Если быть точным, то не у моря, а у Ладожского озера: оно урчало, невидимое, но хорошо слышное. Идти, не идти за грибами? Может, и грибов уже нет? Октябрь на дворе...

Натягиваю резиновые сапоги, надеваю брезентуху, втыкаю нож в корзину. Иду.

За околицей повстречался с тремя грибниками. На доньшках их корзин сиротливо мотались ситники и козлята. Грибники, должно быть, с катера, с ночи из города — в лес. Иронически посмотрели на меня, полагая, что раз они ничего не нашли, то я и подавно. Да и правда, какие грибы...

Чем глубже я погружался в лес, чем глуше доносился до меня вой моторок с Ладожского канала, тем явственнее слышались ропот осин, шуршанье падающих листьев, побряхтыванье старых сосен, перешептыванье молодых березок, тем сильнее охватывало предчувствие чего-то хорошего, что должно случиться, — осуществления моих желаний. Даже и небо вдруг засинело, и солнце вышло, и лес стал цветным. Желал я в тот день одного: набрать... ну, не белых, так подосиновиков, подберезовиков, на худой конец, моховиков, маслят, сыроежек...

В лесу поздней осенью меньше крику, ауканья, чем бывало, зато дальше идти от гриба до гриба. И не к чему суетиться, рыскать. Лучше всего сделать шаг и послушать, пристально оглядеться, где осиновый лист, а где

---

*ГОРЫШИН Глеб Александрович родился в 1931 году в Ленинграде. В 1954 году закончил филологический факультет Ленинградского университета. Работал в газете "Молодежь Алтая", других печатных изданиях. В семидесятые годы — главный редактор журнала "Аврора". В нашем журнале печатается с первых лет его основания (последний раз в 1994 году, № 6—7 — "Мой мальчик, это я. Записки по вечерам"). Автор многих книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.*

такого же цвета шляпка подосиновика. Гриба не видишь, пока он сам не сыграет с тобой в гляделки. Грибы умеют смотреть в глаза грибнику. Да не каждому...

Так я шел, медленно втягиваясь в жизнь леса, переступая из сквозных березняков в мгlistые ельники, затравившие ольшаники, редкие сосняки и матерые осинники. Впрочем, все это перемежалось, вместе росло, переходило одно в другое. Леса к тому же были иссечены канавами-осушителями, изрезаны квартальными просеками. Грибы пока что не попадались, и я заскучал. Вдруг увидел между двух зеленых кочек дымчато-серую спинку зайца. Заяц не шевелился, но по чуть уловимой дрожи шерстинки было заметно, что он меня видит. Заяц молоденький, прибылой. Подрожал и покатился серым катышем, но оглянулся. Я ему подмигнул.

Встреча с зайцем развеселила не меньше, чем если бы напал на семейство грибов. Интересно, что будет дальше? Иду по лесу, как книгу читаю. Книга большая, время в лесу такое же долгое, как дорога солнца: снизу вверх от востока к югу и сверху вниз с юга на запад...

На широкой прогалине у канавы остановился, что-то услышал — ага! — серые гуси: клонк-клонк-клонк... Откуда-то от лесных вершин и еще выше кверху, к зениту летя, появился гусиный угловатый караван. И так он был велик и раскидист, что птицы, летящие по краям, должно быть, не слышали вожака, потеряли с ним связь. Строй начал ломаться, в перестроении был порядок: гуси плотнили ряды, как солдаты на плацу. Вскоре из одного каравана получилось два, вершина в вершину, клин в клин. Гуси переговаривались во все небо о чем-то очень важном для них. Может быть, старые поучали молодых, впервые летящих в большой стае на тысячи километров, как надо лететь, кому какое положено место в строю. Может быть, молодые переговаривались на лету о том, что видят внизу — всю землю от края до края.

Послушал гусей, проникся важностью, увлеченностью их беседы. Поднял голенища сапог, перебрел через канаву, прохлюпал по болоту, покатав во рту пронзительно-кислую, а все же сладкую клюквину, очутился в сосновой гриве. Еловых или осиновых грив не бывает в лесу, бывают только сосновые гривы: у сосен хвоя, как конский волос, жестка и долга.

О лучших грибах я теперь не думал, бережно подбирал волнушку-кокетку в розовой с вуалью шляпке, смуглую, ломкую, пропитанную горьким молочком горькуху, моховик в твердой шляпке-касметке с плюшевой подкладкой, маслят-лягушат, одробший на дожде, но стойкий подберезовик-обабок, вылупившуюся из зеленого мха сыроежку-матрешку в алой косынке...

Сосновая грива у края болота вдруг живо напомнила мне... Такая же грива и клюквенное болото, только дело было весенней ночью на глухарином току, километрах в пятистах от сего места... Мой старший товарищ привел меня тогда на Медвежий ток. Ток назвали Медвежьим, потому что место было медвежье: весной медведи тут подкрепляли свои ослабшие за зиму силы подснежной клюквой. Мы сделали табор вблизи токовища, нарубили сушняка для большого костра на всю ночь, из елового лапника соорудили пышное ложе, натянули на колья презент с наветренной стороны, чтобы не дуло, приладили над костром таган, принесли болотной снежной воды. Табор вышел на славу, и место хорошее, верное место для тока: большое болото — за сутки не обойдешь, на болоте песчаные гряды, на грядах матерые корабельные сосны; у оснований гряд ручейные русла с неунывающей вешней водой, заросшие черемушником, с завалами подмытых стволов. Не всякий доберется в эдакую глушь; легкодоступных глухариных токов не бывает: они давно уж распуганы и разбиты...

Мой старший товарищ бывал на Медвеьем току, устал в дороге, остался сидеть у костра, а я пошел познакомиться с местностью вечером засветло, чтоб, идучи на ток перед рассветом, не запутаться. И нужно было послушать прилет глухарей: они прилетают с заходом солнца, посадку их можно услышать по хлопанию крыльев. Услышишь посадку, после знаешь, куда в потемках идти.

Только избави Бог напуметь на току. Когда глухари прилетят и рассядутся над тобой, замри, жди, пока они уснут. Тогда уже выбирайся к табору. Солнце к той поре сядет и не поможет тебе. Местность вся

переменится, станет другая, чем по дороге на подслух. Протоки окажутся неперебродными, чащи непролазными, болота зыбкими. И заушает филин.

В потемках тебя поводит здешний хозяин лесий-лесовичок.

Идя на ток от табора, я, конечно, наметил путь возвращения. Для верности вырывал листки из блокнота, нанизывал их на ветки, провешивал тропу.

На току отыскал ствол упавшего дерева, сел на него, как петух на насест, набрался терпения ждать. Достал блокнот, собрался записать приходящие мысли. Самые важные мысли приходят в лесу, на подслухе, на глухарином току: ты становишься, как антенна, настроенная на все волны мира, улавливающая не только звуки и речи, но даже подспудные вздохи, биения, пiski. Блокнот я достал, а листков-то в нем не осталось, все по сучкам развесил. Мельком подумал, что это лесий-лесовичок подшутил надо мной. Он любит поиграть с новым человеком на своем болоте...

Солнце садилось, лес наполнялся идущим сбоку и снизу рябиновым светом. Как в гулком, хорошо резонирующем концертном зале, красиво, торжественно пели дрозды, не перебивая друг друга, подражая то горлинкам, то соловьям. Высоко в небе проблеял невидимый бекас.

Глухари почему-то не прилетали. Иногда они приходят на ток пешком, поклевывая клюковку и брусничку, поглядывая круглым глазом. Мне приходилось играть в гляделки с глухарями-ходаками. Когда у них сложены крылья и хвосты, они кажутся меньше, чем на лету или на суку во время токования. Идут вперевалочку, не боятся тебя, если ты, как коряга, наохлился, замер. Они в сумерках малость подслеповаты, у них куриная слепота.

Отсидев неподвижной колодиной два с половиной часа, я почувствовал, что терпение мое истощилось. От солнца осталась кайма зари. Дрозды один за другим умолкали. Я встал, принялся с хрустом разминать одеревеневшие члены. В это время и налетел глухарь, откуда-то сзади, из-за спины. Уселся прямо надо мной на сосне, долго устраивался на суку, слегка пощелкивая клювом. Я стоял в неестественной позе, полусогнувшийся. Часы показывали десять, глухарь мог еще прободрствовать час-другой...

Так я и остался изображать из себя корень-выворотень, лесную диковину. Глухарь у меня над головой маленьку приготаивался смотреть сны. Я замер — что оставалося делать? Вопрос поставлен ребром: кто кого. О чем я думал тогда? Не помню. Скорее всего, я стискивал зубы, прикусывал донимавшие меня поползновения бросить, плюнуть, уйти. Для чего-то мне надо было перехитрить, перестоять этого глухаря. Кто я такой в конце-то концов: лесной человек или?.. Я по-всякому обзывал себя, чтобы разозлить. О том, что нужно убить глухаря, я забыл. Возможно, забыл и о том, кто я есть, для чего стою, согнувшись в три погибели. Ноги все глубже уходили в мох, под мохом ледяная вода. Солнце село, погасла заря.

Я вытащил одну ногу, иначе упал бы. Под ногой чавкнуло. Глухарь не ворохнулся. Я вытянул вперед руки и — по маленькому шажочку — куда-то побрел. Ориентиров не было никаких. Листки из блокнота, нанизанные мною на сучки, должны быть, посылал мой лесий-лесовичок. Он то вел меня по мху, то окунал в мерзкую жижу по пуп, то совал в глаза какие-то дьявольские метлы, то кидал под ноги чурку, чтоб я чебурахнулся носом в грязь.

Табор с его ровно горящим жарким костром, булькающим на тагане чайником, съестными припасами, сухими шерстяными носками, охотничьими байками моего старшего товарища был где-то рядом. Но местность, по которой я брел, ничем не напоминала мне ту, какую видел недавно. На исходе сил (вообще-то силы еще оставались, я знал, что мне их хватит до утра, и ничуть не боялся) уперся в крутой склон песчаной гряды. Таких крутяков и не было тут. Зато под ногой стало твердо — и то хорошо. Я влез на вершину, надеясь сверху увидеть костер нашего бивака, но мой лесий-лесовичок посчитал, что еще не время меня отпускать. Костра нигде не было видно. Ничего другого не оставалось, как разводить свой костер. Достал из кармана спички и сразу почувствовал что-то неладное. Всего одна спичка болталась в пустом коробке. Куда делись спички? Ведь были... Лесовичок опять меня ставил в тупик, однако давал один шанс. Одну спичку...

Надо было еще раз решить, кто кого. Уж тут-то я постарался, надрал бересты, наломал в потемках сухого хворосту... С трепетом чиркнул спичку — огонь занялся, побежал, родился сладкий берестяной дымок. Образовался круг света, в кругу полно дров.

Мне стало жарко и до того хорошо, что лучше и не бывает.

Ухал филин, пугал, но я не боялся его. На небе взошла луна. Что-то такое несурзное прокричал на болоте заяц: ба-ба-ба-ба! Это был влюбленный весенний заяц, звал зайчиху взволнованным, незаячьим голосом. Я спустился к подошве гряды и пил, как лось, из болота.

Сна не было ни в одном глазу. Я жил этой ночью, лесом, весной, слушал ночь, дышал ее свежестью, грелся у ее огня, и мысли приходили такие (жаль, не на чем было их записать), как в юности. Я думал, какое мне выпало счастье родиться вот в этой стране, где можно вдруг потеряться в лесу — и остаться один на один с мирозданием на целую ночь...

Первым оповестил о приближении рассвета, как и положено ему, протянувший с хорканьем вальдшнеп. Проиграли на медных горнах зорю журавли. Кое-где — не то что, бывало, стон стоял — забормотали, зачужфыкали тетерева. Затенькали болотные птицы. Из вершины сосны, под которой я ночевал, громко хлопая крыльями, вылетел глухарь... Зарю, что ли, проспал? Или решил пересидеть меня, как я вчера перестоял его собрата?

Заря занялась вполнеба, поди угадай, где восток, в каком именно месте изволит явиться красное солнышко. Нечистая сила еще поводила меня по болоту. Я даже был благодарен ей: что может быть лучше, чем хрупать по заиндевшей болотной корке, обирать с кочек сладкие клюквины-леденцы?..

Стоило солнцу показать закраину, как в мире установился порядок, раздерганный ночью нечистой силой. Нашлась провешенная листками из блокнота дорожка к табору. И валежина, на которой я ждал глухаря... Вокруг нее были набросаны спички: покуривал — чуть не остался на ночь в лесу без костра.

В то утро, помню, я дал себе клятву бросить курить. В последний раз закурил на таборе, он оказался тут же, под боком. Костер давал жару настолько, чтобы греть пятки моему старшему товарищу. Он подремывал. Увидев меня, встрепенулся, принялся заваривать чай. По обычаю много жившего человека, не стал задавать мне вопросы, а сам объяснил, где я был в эту ночь. То есть предложил наиболее вероятную, по его опыту, версию моих ночных походов. "Наверно, близко глухари сели, вы не захотели их пугать, остались в току..." Я согласился с этой версией. Так оно, в общем, и было.

"А я пошел в тот край, — сказал мой старший товарищ, — чтобы вам не мешать... Не слышал ни одного глухаря. Должно быть, переместились или кто-то до нас побывал, распугал..."

Я-то знал, что глухари как были на Медвежьем току, так и есть и будут еще. Но я также знал, что мой старший товарищ состарился и нуждался в поводе на току и надеялся на меня...

На обратной дороге с Медвежьего тока мы набрали беремья сморчков...

В пригородном лесу, в сосновой гриве, исхоженной вдоль и поперек грибниками и ягодниками, высматривая во мху, в палой хвое грибы, я думал о глухарях, силой воображения воскрешал события той ночи, проигрывал разные варианты и ходы. Вот если бы я, например, заметил того глухаря, второго... А если бы вернулся к тому, первому?..

Я думал о глухаре, и глухарь вдруг слетел с обобранной дочиста брусничной кочки, поднялся и пошел, далеко впереди себя неся клювастую голову с кровавой бровью.

Откуда он взялся, куда полетел, чем жил в безъягодных наших лесах? Мы с таким усердием обираем бруснику и клюкву, как будто с голодухи. Почти ничего не оставляем глухарям с рябчиками...

На просеку вместе со мною вышла лосиха, остановилась, меня поджидала. В глазах ее не было страха, она не боялась меня. Мне хотелось поглядеть лосиху по холке, но так далеко наше с ней знакомство не зашло. Звери не допускают панибратства...

В осинниках я нашел подосиновики, в березняках подберезовики, на опушке бора, смыкающегося с мокрой луговиной, набрал маслят. Я не рыскал,

не торопился, не жадничал, не аукался, не привередничал, брал и горькуху и сыроежки.

В местах, откуда родом моя мама, в Демянском районе Новгородской области, сыроежки зовут горянками. Моя мама брала горянки, умела их так засолить, что бывали они повкуснее волнушек. Сжаренные в сметане с луком, горянки хрустели на зубах, хруст отдавался трещанием за ушами. Я брал сыроежки и вспоминал о маме. Говорят, что счастливое время детство. Или отрочество. Или юность. Но забывают, что источник счастья один у каждого человека во все времена — это мама...

Я шел вдоль опушки, по левую руку было песчано и сухо, по правую мокро и хлюпко. И вот здесь-то, меж бором и лугом, оплетенный осокой, высокорослый, с коричневой шляпкой, на толстом корне вдруг мне явился белый гриб. Сначала я подумал, что это масленок-переросток. Но это был белый. И не червивый. Мой лучший-лесовичок-насмешник за что-то вознаграждал меня щедрым подарком.

Грибы поздней осени скрытны, но если их хорошо поискать, то можно перемигнуться с зайцем, послушать гусиные речи, налюбоваться летящим над соснами глухарем, заглянуть в глаза лосихе.

Я вернулся в деревню с полной корзиной грибов. Грибы поздней осени особенно дороги, остро пахнут палыми листьями, хвоей — лесом. Лучше нашего леса в мире нет ничего.

## НЕУБИТАЯ ПТИЦА

**Ш**ли тракторной колеей, затрушенной сеном, потом свернули на санный след: на озере с корочкой намороженного утренником зеленоватого льда след потерялся. Младший ступил на желтую наледь, треснуло... Шагнул еще и пошел не оглядываясь. Старший снял шапку, на всякий случай перекрестился: “Господи, пронеси”.

На той стороне дорога забрала круто вверх. В глубоком логу бурлил поток, сочились ручьи под ногами. Солнце перевалило зенит, опускалось; мириады капель на каждой елке, можжевельном кусту радужно переливались. В логу посвистывали рябчики.

Деревня скрылась из виду, двух путников обступила со всех сторон радеющая весне природа: на березах набухли почки, на ивах зажелтели пуховки, стволы осин восходили, как струи синеватого дыма, парила земля; празднично рдели на голых кустах, будто кем-то подвязанные алые бантики, редкие цветки волчьего лыка. От полноты телесного ощущения жизни перехватывало горло, как в парной на полке.

— Спасибо тебе, Алеша, — сказал старший, в очередной раз садясь на брусничную кочку, закуривая. — Давненько я этого не видал. Лучшего в жизни и не бывает. Увидеть, надышаться — можно и помирать.

— Да бросьте вы, зачем помирать?! — радостно отозвался младший. — Глухарей добудем, в гости пойдем к учителькам. У нас в деревне учительки замечательные, простые. Хотя и горожанки. У нас кто зиму перезимует, с того дурь слетает, у нас зима серьезная.

— Много ли учительок? — заинтересовался старший.

— Да хватит, — заверил младший, — им колхоз дом построил, у каждой отдельная комната.

Поднялись на ровное плоскогорье, перебрали по зимнему льду еще одно озеро, за ним болото-кочкарник. Тропы не было, младший шел по известным ему приметам. Перевалили сосновую гриву, опять сошли к белому озеру. Тут была давняя стоянка людей — табор, со столом на вкопанных лесинах, скамьей, кострищем с таганом и крюком для котла.

— Это Матренино озеро, — сказал младший, — когда-то — никто не помнит когда — Матрена в нем утопилась. Это — наше озеро, нашего рода. У нас в деревне у каждого рода свое озеро, на всех хватает. Из поколения в поколение снасть держат, никто из чужих не ходит, не трогает. В озере окуней, щуки, сороги навалом. Помню, еще в детстве всей семьей здесь рыбачили по осеням, коробами таскали рыбу домой. В бочках

насаживали, зимой это первая еда: на сковородку, с постным маслом, с луком, с картошкой — пальчики оближешь! И котам, и собакам лафа. Батя и сейчас ловит, хотя такой заготовки не стало, больше консерву жуют.

— У нас здесь такая тайга, — говорил, увлекаясь, младший, — в нее уйдешь, и концы в воду, никто тебя не найдет. Не так давно был случай: завмагазином проворовался, ему бы пять лет припаяли. Не захотел сидеть, сбежал в тайгу, почти год куковал. Искали — все бесполезно. Знаете, как у Распутина в повести “Живи и помни”, там дезертир, а здесь обычный молодой мужик... Поискали и плюнули: помается — сам выйдет. В торяге тепло, как-никак баланду дают, а здесь... и зверь дохнет от бескормицы. Когда амнистия объявили, ему дали знать, он вышел. Сейчас рыбаком в колхозе, можете с ним поговорить, вот вам сюжет обалденный...

Старший слушал вполуха, все более втягивался в необходимую работу обустройства табора: рубил сушину, еловый лапник на ложе, ходил на озеро за водой, разводил костер. Долго потом сидели за столом, в бликах спорого огня, благодумствовали.

— Так хорошо, — сказал старший, — даже выпивать не хочется.

— Ну давайте маленько за нашу тайгу.

— Ну, давай.

Младший прилег на лапник ногами к костерному жару, головой к натянутому брезенту — от ветра. Старший шевелил костер, не мог оторваться от полыхания пламени, рдения угольев, взлетающих искр, от луны в вершинах деревьев, от обманной, как будто готовый взорваться тишины этой ночи, с подспудным журчанием подснежной воды, с покряхтыванием старых стволов от верхового ветра, уханьем филина, с летящими облаками. Он думал, что главное с ним происходит сейчас, так остро переживалась ночь в весеннем лесу. И звезды как будто летели на безоблачно-ветреном небе с темно-синими проталинами.

Старший прилег близко к младшему, задремывал; в урочный час кто-то ему сказал: “Пора”. Ушли недалеко от табора, поднялись в сосновую гриву, младший шепнул:

— Здесь так. Вы так идите, а я так.

Разошлись. Приморазживало. В багряном свечении низкой луны деревья в редком лесу отбрасывали длинные тени на посыпанный жухлой хвоей снег. Настал торжественный час сиятельной тишины, как в зале с колоннами, люстрой перед концертом. Трудно было решиться спугнуть тишину неосторожным шагом.

Запел глухарь вдалеке... Впрочем, как вдалеке? У глухаря тихая песня. Да вовсе и не поет древнейшая в наших лесах, миллионнолетняя птица — шаманит, колдует. Поцелкует клювом, зашкворчит-заскиркает — и ни на что не похожий звук повергнет в смятение даже ушлого охотника. Охота на глухариню току — языческое, страстное действо: поиграть с таинственной птицей, стать выше нее в хитрой, хищной сторожкости — и убить. Поцелкивает глухарь — все слышит, а затокует — погружается в глухоту-слепоту. Совсем короткая песня у глухаря: шаг ступишь, два — и замри. Шумнешь после песни, концерт окончен. Начнет глухарь осторожно, с перемолчками; пролетит над током глухарка-кополуха, поквохчет, кавалер распалтиса, зайдет: петухов соизывает на бой, подругу на милованье.

Старший пошел к поющему глухарю, весь обратился в настороженное только на этот пеленг ухо. Чем ближе, отчетливее пел глухарь, тем короче становились броски охотника; ноги вязли в снегу, снег крошился, шумел. Сердце сорвалось со своего места, билось в самом горле; молотки стучали в висках. “Господи, помоги!” Где-то хлобыстнул выстрел младшего, старший услышал, но как бы не понял значения постороннего звука. Его глухарь не умолк: выстрел пришелся на песню. Кополуха рассыпала над вершинами свое ко-ко-ко. Охотник подвигался к птице не прямо, таясь за деревьями, слышал песню все явственней. Исступление птицы передавалось ему. Он увидел поющего глухаря сквозь частый ельник: глухарь сидел на суку сухой сосны, непрестанно складывал-распускал веером хвост, ронял помет, целкал-скиркал клювом. Каждая песня заканчивалась будто выпуском пара: ш-ша. Стрелять сквозь чащобу было без проку, следовало чутко вернуться, взять в сторону через открытое место под защиту ели. От лунного света, от снега было светло, глухарь мог увидеть охотника. Охотник

исполнил маневр, ну, конечно, под песню. Теперь он стоял за елью на расстоянии верного выстрела от глухаря. Вскинул ружье, приложился... В сердце вошла игла и не вышла. Грудь сдавило болью, той самой, с которой когда-то его унесли на носилках в карету "скорой помощи", уложили под капельницы в палату интенсивной терапии... Больница, обучение первым шагам по счету, четыре месяца на бюллетене: инфаркт... Охотник уронил в снег ружье, полез в карман за лекарством... Глухарь умолк, присел на суку, сложил хвост, смотрел на человека. Ударил-загрохал крылами, улетел. Стало тихо.

Старший ощутил под языком холодок облатки нитроглицерина. Поплыло в глазах. Он сел на валежину, подождал, огляделся, припомнил, где он, что с ним... Сердце медленно опускалось в то место, где надлежит ему быть, но боль не отпускала. Он принял вторую облатку. Издалека донесся второй выстрел...

На табор старший пришел первым, разживил костер. Внутри у него все вроде стало, как было до этого тока, но что-то изменилось... в его отношении к лесу, озеру, костру, даже к заре на небе, к голосам лесных птиц — все отдалилось, зачужело, не занимало его. И то, как прыгал под песню, волновался, целился в птицу, мог убить... стало неинтересно, как будто было не с ним. Он вслушивался в себя, там внутри происходило что-то единственно важное для него. "Я хотел лишить жизни птицу, — подумал старший. — Нет, я не хотел, но так вышло. Нет, вышло не так. Некто решил, что можно лишить жизни меня. Если бы я выстрелил в птицу, если бы не взял с собой нитроглицерин... Красивая смерть — на глухарином току! Никем не описанный случай. Кто опишет? Никто... не пережил свою смерть!"

Огляделся: все показалось ему излишне, опасно: так много леса, так далеко от дома... "Господи, помоги!"

Младший принес глухаря, лицо его полыхало азартом, голос срывался:

— Я второго свалил, крыло ему перебил, он, зараза, в ельник забился, в чащобу — и затаился; я все облазил, не мог найти.

— Попей чаю, Алеша. — Старший налил из котелка в кружку. Младший жадно выпил.

— А ваш где глухарь? — спросил он требовательно, как будто с упреком. — Я за вами следил, когда вы пошли под песню. Смотрю, все путём. Ну, думаю, верняк. А у меня на слуху три глухаря пели. Одного я свалил...

Старшему не понравилось слово "следил". Он выговорил младшему:

— За мной следить не надо. Я человек открытый, весь на виду.

Младший глянул старшему в глаза охотничьим прицеливающимся взглядом:

— Я же вижу, вы грустный. Убили бы глухаря, у вас бы душа пела. Я первого убил, как сумасшедший, индейский танец над ним исполнил. Не верите?

— Я приехал повстречаться с весной, — без всякого выражения сказал старший.

В деревню шли с частыми остановками.

## ЧЬЯ РЕЗИНА ЛУЧШЕ

Александр Павлович Гостомыслов вступил в гаражный кооператив, Абудучи кандидатом наук — не точных, автором публикаций, пока не трудов, но кое-что было и, главное, назревало. Иногда выходили в свет небольшие книги Гостомыслова, написанные как бы по наитию: накатило и вылилось — о каких-либо предметах и лицах нашего национально-исторического бытования. Например о русской печи как языческом домашнем божестве — хранительнице семьи, первоисточнике блага для русского человека, основе пользы и красоты, с далеко, до самых наших дней идущими предположениями: откуда теперь танцевать, когда печи не стало. Или о черной и белой кости, о простой и голубой крови, как им

ужиться в организме одной нации, что станется с нацией по смешению кровей. Или о Петербурге — единственном стольном граде, выстроенном в равной мере на том и другом берегу широчайшей в Европе реки — как воплощения русской непоязни пространства... Надо сказать, что в Александре Павловиче Гостомыслов ессейст преобладал над исследователем, однако получалось не только лихо, но и здраво.

Книжки Гостомыслова широкая публика не то чтобы читала; автора больше знали по выступлениям на телевидении, а вот один из дежуривших по ночам в гаражном кооперативе мужичков читал; ничего удивительного: у нас, как известно, самая читающая в мире публика. Ночного сторожа все звали — по возрасту и простоте обращения — Кириллыч. Кириллыч вычислил в члене кооператива из бокса № 102 автора, поделился с ним впечатлением от прочитанного, в общем, благоприятным, но с некоторым оттенком критицизма, то есть пожеланием на будущее: “Я ожидал большего”.

Другое пропуская мимо ушей, это Гостомыслов запомнил. После защиты докторской, банкета и всего прочего заехал в гараж, зашел в дежурку к Кириллычу, поставил бутылку. От ночного сторожа исходила душевная тишина и еще что-то родственное, отеческое. Гостомыслов подумал, что Кириллыч примерно ровесник его отцу, убитому в ополчении в сорок первом году.

— В войну-то воевал, Кириллыч? — спросил он с искренним интересом, постоянно глядясь в лица воевавших вместе с его отцом.

— Да как сказать, Павлович... На Ладожской трассе на полуторке шоферил, в ледяном крошеве буруздился. Тебя не накроет, в воронку булькнешь. Воронки-то не видать... После мобилизовали на лесозаготовки, на газогенераторе лес-возил...

Так хорошо посидели доктор наук с ночным сторожем в дежурке. На прощанье Кириллыч сказал:

— Ты, Павлович, оставь ключ, я в твоём гараже деревянный пол настелю; и машине лучше и сам, когда придешь, посидишь, подумаешь. От бетона мысли не происходит. Нашему брату деревяшка нужна.

Гостомыслов обрадовался:

— Это ты верно сказал, Кириллыч: мы все вышли из лесу. И последняя наша домовина — деревянная...

Вскоре Александра Павловича Гостомыслова назначили директором научно-исследовательского института гуманитарного профиля. Каких-либо усилий стать директором он не предпринимал, даже пассивно сопротивлялся назначению, чего, впрочем, никто не заметил. Его пригласили, ему предложили, поскольку он был на голову выше других в своем предмете, умел излагать мысли с трибуны и обладал необходимой для поста представительностью. Ну, разумеется, и по анкете... Он согласился, заступил, соответствовал. Однако давало о себе знать и некое несовпадение человека с местом: в одних случаях молодой директор позволял себе излишнюю доверчивость, в других не по чину горячился. На директора жали с той стороны и с этой; поддавался, после расхлебывал. Директорским местом Гостомыслов как-то демонстративно не дорожил, что одних удивляло, других коробило. Бывало, загуливал, напивался выше дозволенного в то время (во второй половине семидесятых); мучился похмельем опять же у всех на виду; ученый секретарь Челобаев приносил опохмелиться, сам чуть пригублял, внимательно слушал, что говорит директор, будучи в трансе, запоминал.

Однажды Кириллыч предупредил Гостомыслова:

— Знаешь, Павлович, у нас в девяносто пятом гараже капитан дальнего плавания, я ему пол стелил... У него брат в органах работает. Брат ему говорил, а он мне, вот так же, как с тобой, мы маленько выпили... У тебя в институте ученый секретарь худой мужик, на тебя стучит.

Гостомыслов не принял всерьез предупреждение доброхота:

— Стучит — и достучится! Сам между глаз получит. Худое никого до добра не доводит.

Бывало, в институте директор срывался, что не прощается коллективом... На производственном совещании две дамочки бальзаковского возраста, парторг и профорг — обе комсомолки начала пятидесятых, прогрессистки



начала шестидесятых, кандидатские Бог знает когда защитившие, а дальше ни в зуб ногой, общественной работе преданные, мужьями брошенные, детей не родившие, вкупе с третьей такой же из советского отдела как заведут свою бодягу об интернациональном характере, взаимном обогащении, классовом подходе и так далее... Директор слушает, терпит, слов уже не разбирает, только в мозгу отдается мушиный зуд... На лицах выступающих дам какая-то застарелая обида на судьбу, какая-то закушенность, раз и навсегда взятая решимость любого переговорить, не принять чьего-либо мнения, супротивного их дамской, на чаепитиях в парткоме принятой линии. Директор попробует возразить вежливо, интеллигентно, как подобает в научном учреждении гуманитарного профиля, дамы в ответ застрекочут с еще большей оголтелостью... И тогда в какой-то момент Гостомыслов как трахнет кулаком по столу, как рявкнет: "Хватит болтать! Я пока решаю!" Активистки губы свои, давным-давно никем не целованные, подожмут... Даже близкие Александру Павловичу по духу сотрудники потупятся: так, директор, нельзя, в порядочных домах не принято. Производственное совещание скиснет, директор вскоре раскается, исказнится: фи, какой моветон! по столу кулаком стучать да еще на женщины, да в учреждении, известном своим политесом... Активистки с совещания прямо в партком или в советский отдел, чаю вскипятят, себе победу запишут, а директор... Это ему так не пройдет.

С дамами распивал чай и ученый секретарь Челобаев, довольно еще молодой, лет тридцати семи, специалист по Серафимовичу и Малышкину, вполне готовый к восхождению по научной и служебной лестнице. Оплошности директора Челобаев усекал, но помалкивал, с парткомом, профкомом и советским отделом контактировал, но в женском хоре не участвовал, приберегал свой голос до момента "икс", им самим вычисляемого, когда можно будет взять директора голыми руками, чтобы он не пикнул.

Челобаеву капали на директора по службе или из душевной потребности, он ухмылялся: "Александр Павлович у нас голова, матерый человечиче". Кто приходил из райкома, обкома, других органов, первым делом к ученому секретарю; его кабинет в начале коридора, директорский в конце; за собою дверь прикрывали, приглашали на разговор парторга...

Надо оговориться: я упрямою расстановку сил в таком многоярусном ковчеге, как институт гуманитарного профиля, вывожу нечто среднее, но за верность лиц, положений, общего хода ручаюсь. Да и сама история вполне обыкновенная, могла случиться где угодно: одни других подсиживают, кто-то держится за место, кто-то кого-то хочет перескочить, рядовые имеют зуб на начальство, рутинеры и прогрессисты, не разберешь, кто левый, кто правый, чуть что, все садятся к столу, нравственно обнимаются за общей бутылкой — период упадка империи, пир во время чумы...

Так могло бы тянуться долго: директор Гостомыслов ни на кого зла не держал, с идеями, не ленив и с начальством умел ладить — сидел бы на непыльном директорском месте и членкором бы стал. Но было нечто невидимое со стороны, сокровенное, чем наш герой мог поделиться только с близким другом после первой рюмки, нет, после второй, когда все поры души раскрыты, на устах последняя главная мысль. "Я просидел пять лет в кабинете, — говорил Саша другу с глубоким искренним чувством, — в постоянной нервоотрепке, суете, зависимости от каких-нибудь идиотов и понял, что теряю в себе самое дорогое — печаль, сладость раздумья, когда можно выйти на ближние подступы к истине. Истина абсолютно непостижима, но если ученый — мыслитель, то должен истину предощущать. А если не мыслитель, то кто же? Дерьмо собачье, функционер! Вот я, знаешь, и написал заявление с просьбой освободить меня по собственному желанию, в связи с осенившей меня идеей. "По собственному желанию" — это, голубок, тривиально: мало ли какие бывают собственные желания? "В связи с осенившей меня идеей", — в этом уже что-то есть..."

Гостомыслов написал заявление, подал куда следует, но директоров институтов не меняют как перчатки. Вообще, кадровый вопрос, тем более номенклатурный, может решить только первое лицо. Ему доложат, а он отмахнется: "Соответствует? не погорел? Ну и пусть работает". Да ему и докладывать не будут, первому-то лицу, по таким пустякам.

Неожиданное ускорение ходу событий придало обстоятельство в некотором роде даже курьезное: ученый секретарь Челобаев имел жену Мику, кажется, Микаэлу, еврейку... То, что жена еврейка, поднимает русского (или еще какого-нибудь) мужа в собственных глазах и общем мнении: за неперспективного еврейка замуж не пойдет. Всем понятно, что умная жена еврейка (самая умная, самая красивая или самая больная) тянет русского мужа-олуха за уши, решает за него, что делать в данный момент, что в следующий за ним. В свое время тугоплавкие большевики ("гвозди бы делать из этих людей"), взявшие на себя непосильную тяготу переустройства мира, женились на еврейках, дабы после дня трудов, повесив на спинку кровати португую, промыв маузер керосином, было с кем посоветоваться на завтра. За примерами нет нужды обращаться к энциклопедиям (в них такие примеры не приводятся), достаточно вспомнить, что у столпов советского государства с момента его основания до недавнего времени были жены еврейки, не говоря о других.

Мику Челобаеву выделяло среди жен сотрудников института, руководимого Гостомысловым, да и вообще в любой женской среде, то, что она не носила бюстгалтера; ее приспущенные (но не опавшие), всегда будто заинтересованные в производимом эффекте груди под свитером достаточно редкой вязки или еще под чем-нибудь, по сезону, выявляли себя совершенно определенным образом: при общении с Микой ее визави сосредоточивался на этом пункте, как грудное дитя, чающее материнского кормления. Если Мика с кем-нибудь танцевала, ее груди подсоединялись, как клеммы, к наиболее чувствительной зоне в организме партнера, повыше солнечного сплетения (партнера стандартного роста), что повергало Микиного кавалера в пограничное с оргазмом функциональное расстройство вестибулярного аппарата. От крайностей кавалера удерживал исходящий из Микиных глаз трезвый ум; глаза у Мики такого цвета, как напиток тархун в темного стекла бутылке. В ее умном зеленоватом том взгляде есть нечто общее с тем, как глядит на нас трехсотлетняя черепаха.

Мика то ли что-то закончила, то ли собиралась куда-то поступать. Иногда она участвовала на выставке детского рисунка наряду с маленькой дочкой, иногда писала сценарий в соавторстве с самым талантливым режиссером из имеющихся на данный момент. Однажды два ее рассказа, рекомендованные в печать не то Фазилем Искандером, не то Петром Проскуриным (кажется, она побывала у того и у другого, оба изъявили готовность покровительствовать дарованию), набрали в журнале, в котором редактором был... Был и сплыл... Рассказы Микаэлы Челобаевой снял обком, набор рассыпали...

Мика приходила в институт своего мужа на праздничные вечеринки: Первого мая, Седьмого ноября, двадцать третьего февраля; в особенности истоиво праздновали Восьмое марта: персонал в институте в основном женский — наносили столько мимозы, что после, ворчали уборщицы, хоть веники собирать. Ворчали без злобы: послепраздничная уборка вознаграждала пустыми бутылками на сдачу; бутылки находились повсюду, даже в хранилище древних рукописей, куда и за делом так просто носу не сунешь. Главное застолье устраивалось в галерее восемнадцатого века, с постоянной в ней экспозицией бюстов: царица Елизавета Петровна с наперсниками — их подарил институту потомок великокняжеского рода, доживающий свой век в одной европейской стране. Царствие Екатерины Великой было представлено только портретами и гравюрами. Стол накрывали "у Лизы", выпить на брудершафт или еще за чем-нибудь уползали "к Кате". Бывали также импровизированные, всегда радостно-возбужденные смычки части сотрудников института по случаю дня рождения, квартальной премии, ухода в отпуск или возвращения — "у Пети", "у Паши", "у Коли", "у Саши первого", "у Саши второго" — так фамильярничали с царями...

Мика являлась на все институтские ассамблеи, фэйф-о-клоки, а-ля-фуршеты и просто посиделки с каким-то неиссякаемым зажигательным энтузиазмом. Она с удовольствием, чистосердечно, без жеманства напивалась всем, что было на столе, накуривалась до такой степени, как воздушный шар перед взлетом наполняется газом гелием. Доставала из сумки принесенный с собой рыжий лисий хвост, прицепляла его к собственному копчику; хвост ниспадал по обтянутым джинсами выпуклостям; Мика

появлялась то здесь, то там, повсюду поджигая то, что тлело и угасало. Где бренчала музыка, там она танцевала, но, как бы ни была пьяна, как бы ни раскрепостилась, ни разу не впала в экстаз, никогда не дала себя выбрать кому-то для танца, а выбирала сама: клала свой глаз с расширенным от алкоголя, никотина, кофеина зрачком на какого-нибудь мистера, сэра, эсквайра; серая публика в поле ее зрения не попадала, знала про это и не совалась.

Александр Павлович Гостомыслов, обыкновенно пробыв с коллективом весь капустник, приняв в свой адрес шуточки, колкости, тоже отшутившись, хорошо выпив, основательно закусив, отключивал к себе в кабинет, туда же направляли стопы гости такого же ранга, институтские единоверцы директора. В кабинете празднество продолжалось, за одной умной речью следовала другая. Сказывали анекдоты кто во что горазд. Хозяин кабинета был неистощимый охотник сыпать скоморошеские байки-притчи. Например: чья резина лучше? Раз заспорили русский, американец и француз, чья резина лучше. Француз говорит: “У нас в Париже был случай, один упал с Эйфелевой башни, подтяжкой за перила зацепился, чуть не до земли долетел, подтяжка сработала — и обратно на самую верхотуру. И хоть бы что. Наша резина — самая лучшая!” Американец говорит: “А у нас один из окна сто второго этажа выпал. Внизу другой шину накачивал. Тот, что выпал, прямо на шину угодил — и кверху взлетел, в то самое место, из какого выпал. Наша резина лучше”. Русский говорит: “А у нас один с Исаакиевского собора рухнул. Как раз новые галоши надел. Сам вдребезги, а галоши целехонькие. Лучше нашей резины в мире нет!” Гостомыслов очень любил эту историю. Все ее знали, но всякий раз смеялись. Правда, смешно.

Тут являлась Мика Челобаева, одинаково входяя во все кабинеты, обзывала сидящих в кружок докторов-профессоров мальчиками... “Ой, мальчики, что-то вы тут закисло. Пойдемте лучше танцевать”. Почтенные мужи вспоминали в себе мальчиков, выпрастывались из кресел. Мика уже вела под руку Александра Павловича, он шел радостно-обреченно.

Танцевали в галерее; танец замедливался, превращался в сомнамбулическое витание, в прикосновение магнита к железу. Хотелось остановить мгновение, оторваться, продлить этот танец. Но было нечто постороннее, мешающее: танцую с Микой, каким-то боковым или затылочным зрением ее партнер видел оплывшее книзу лицо Челобаева, с набрякшими веками, по-татарски суженными глазами, с таким выражением, какое бывает у змеи, наострившей жало на жертву. Танец с Микой заканчивался, как все на свете, не имея какого-либо продолжения.

Коронным Микиным номером, в итоге ассамблеи, являлось ее перекувыркивание назад через голову, с взлетанием лисьего хвоста, последующим заваливанием набок. И тогда в этой финальной сцене внимательный наблюдатель мог разглядеть в общей чертопляске неприятное, трезвое, брезгливо-ненавидящее лицо Микиного мужа. Муж досиживал до какого-то одному ему известного часа, подходил к жене, отцеплял хвост от копчика, надевал на жену плащ и уводил.

Однажды Челобаев разлезся с Микой. Ничего невероятного в этом не было: гармонического единства данная пара не представляла. Возможно, мужа не устраивало не только поведение жены, но и ее политическое кредо. Вскоре Мика с пятилетней дочкой уехала в Израиль. Институтских женщин такая Микина прыть озадачивала, пугала: “Мика? Челобаева? как же она там, пьянчужка, курилка? да еще с малым дитем...” Опытные, рассудительные заверяли: “Ничего, не пропадет, будьте спокойны, с ее фигурой, с ее умом...”

Челобаев вскоре женился на машинистке Виолетте, белобрысенкой, тощеватой, прокуренной, как солдатские усы, с голубовато-белесоватыми навывкате зенками, с розоватыми сосудиками в белках. Алкогольные напитки Виолетта проглядывала с той же безоглядностью, что и Мика, но, в отличие от Мики, молча, с выражением обиды на испитом бескровном личике. Напившись, Виолетта всякий раз сообщала, что у нее бабушка по отцу — полька. Виолетта была десятью годами моложе Микаэлы, ей открывался жизненный выбор: закончить вечернее отделение, потом в аспирантуру... Пока что она целыми днями стучала на машинке (про нее

говорили, что она не только на машинке стучит), вечерами сидела во всех застольях, принимала подносимое, храня на лице выражение обиженности: я заслуживаю большего, у меня бабушка полька... Так бы Виолетта (ее звали на службе Леля) стучала и стучала, самой бы ей не выбиться, нужен был принц. И тут Челобаев...

О! Челобаев в новобрачии преобразился, в рабочее время заходил к молодой жене в машбюро, о чем-то с ней разговаривал, выходил от нее не с такими, как прежде, суженными по-татарски глазами; глаза его приоткрывались, распахивались на будто впервые увиденный мир. Как-то, сидя у себя в кабинете, Челобаев запел приятным, далеко слышным баритоном редко исполняемую песню Булата Окуджавы: "Давайте говорить друг другу комплименты..."

На вечеринках, ассамблеях — Боже мой! — муж удерживал Лелю, отодвигал от нее сосуд, предлагал взамен сигарету, подносил зажигалку с большим огнем. Все смотрели на эту пару и понимали, что — пара. Некоторые — злых языков всегда у нас хватало — напоминали и про два сапога... Сходились на том, что Мика и Челобаев антиподы, а Леля — в ту же масть. Через какое-то время Леля уволилась со службы и поступила на дневное отделение в ВППШ — высшую партийную школу! (В институте она была молодым коммунистом и членом парткома.) О Мике не то чтобы позабыли, но ведь что же? Отрезанный ломоть. Мика, может быть, где-нибудь существовала, но как бы перешла в мир иной, недосыгаемо-запредельный.

Как вдруг...

Мика позвонила своему бывшему благоверному... из Рима. Так бывает с уехавшими в Израиль: уедут и вдруг окажут себя совсем не там, куда уехали, вот хотя бы в Вечном городе...

В кабинете у Челобаева в это время кто-то сидел. Челобаев мычал в трубку, отделялся междометиями, на его лице проступила краснота. Присутствующий при разговоре сотрудник не уходил, сидел против ученого секретаря с выражением решимости решить то, зачем пришел. Голос из Рима хорошо доносился, трубка вякала, верещала. Мика торжествовала — там, в Риме; в ее скороговорении не было пауз для реплик советского собеседника. Челобаевское меканье, дадаканье, крихтенье едва ли доходило по проводу в Рим. В конце разговора Челобаев на что-то возразил, но последнее слово опять же было сказано в Риме.

Ученый секретарь положил трубку, его глаза встретились с оживившимися глазами сотрудника.

— Вот... благоверная не забывает... — сказал он в некотором обалдении. — Из Рима звонила... — В его голосе наряду с понятным испугом прозвучали и нотки тоже понятной гордости: не каждому супруга из Рима звонит, хотя бы и бывшая.

Через некоторое время у Челобаева состоялся еще один разговор все с тем же Вечным городом. Он приготовил на этот случай улыбку и версию для сослуживцев: Мика печется о Жульке, пуделе; Жулька — дама, у нее сейчас такой период, ей нужен кавалер. Мика дает советы в отношении кавалера для Жульки. И напоминает, что надо поливать бегонию и аспарагус. Звонки по международной линии, особо звонко-требовательные, как горн в пионерском лагере, стали раздаваться в кабинете ученого секретаря, довели бедолагу до нервного тика, задергалось веко...

Сотрудники института всякий день спрашивали друг у друга: "Ну что, звонила?" Женщины широко распахивали глаза: "Ведь это ей стоит бешеных денег, там у них за телефонный разговор три шкуры дерут". Другие предполагали: "Значит, есть кому платить". Мужчины брали глубже: "Это она Челобаю устраивает красивую жизнь. У него уже в зобу дыханье сперло от радости: думал, все, из Израйля Мика его уже не достанет... Не тут-то было, не тот случай... Она ему еще подмочит и партийную репутацию".

Звонки из Рима взбадривали, будоражили институт; привносили в обыкновенное занудство и тяготину элемент сладостно-опасной надежды: начальство погорит — и ученый секретарь, и директор: разговоры с заграницей уже, конечно, прослушивают...

Так и вышло: Гостомыслова пригласил в обком завсектором Авдей Авдеевич Умрихин, мужик, по общему мнению, не самый плохой, но

абсолютно несговорчивый, как продавец мимозы под Восьмое марта. Каждое высказанное им мнение начиналось с широко употребительного в партийном обиходе словечка “нет”. На парткоме обсудят отчет, зачитают план работы, Авдей Авдеевич подведет черту: “Нет, я понимаю, учитывая специфику, профиль... Но в плане (в отчете) я не вижу слова “партия”, не выражен партийный подход к утверждаемой тематике, не дана партийная оценка проделанной работы...”

Члены парткома оправдывались: “План (отчет) партийный по духу... Мы думали, и так понятно...” Умрихин стоял на своем: “Нет! Партийные документы так не пишутся”. До тех пор, пока в отчет (план) не вносили фразу: “Во исполнение решений партии...” или: “Руководствуясь идеями, высказанными в докладе...” Фразу вписывали, но Умрихин не унимался: “Нет, вы поймите меня правильно, не думайте, что я какой-нибудь начетчик; мы все здесь с вами коммунисты; не надо стесняться слова “партия”. План (отчет) лучше переработать, роль парткома конкретизировать”. Переработали, конкретизировали. Умрихина не переспоришь.

По приглашению завсектором директором института приехал в обком. Замешкался внизу в бюро пропусков: он был беспартийный — единственный в идеологических кадрах такого уровня. На него не давили, но от него ждали с постоянно высоким напряжением, когда же он вступит в ряды. Срок доверия-ожидания истекал... В просторном, в светлых тонах, как все кабинеты в обкоме, с портретом очень сердитого Ильича на стене, Умрихин вышел из-за стола встретить Гостомыслова, протянул руку, обменялись рукопожатиями. Закурили, поднося друг другу зажигалки; Умрихин опередил Гостомыслова. Поговорили о том, что было у всех на слуху... Завсектором сделал паузу перед тем, как приступить к главному разговору. Гостомыслов набылчился.

— Вы, Александр Павлович, вашего ученого секретаря Анатолия Ефремовича Челобаева хорошо знаете? — спросил Авдей Авдеевич.

— Знаю. А что? Вы его лучше знаете, ваш кадр. — Гостомыслов смотрел исподлобья. Его глаза под кустистыми бровями меняли цвет, как летнее небо с летящими облаками в ветреную погоду.

— Мы-то знаем, — против своего обыкновения Умрихин согласился с доводом вызванного на беседу с глазу на глаз. — Мы хотим, чтобы и вы знали своих, так сказать, ближайших сотрудников...

— А зачем? У меня другая профессия.

— Не надо, — сказал Умрихин. Он рассердился, как Ильич на портрете, только без бородки, без прищура. — У нас с вами общее дело. Я надеюсь...

— Местами, местами, Авдей Авдеевич. — Гостомыслов вдруг рассмеялся. — Давайте ближе к телу.

Опять закурили.

— Вам должно быть известно, — как по тексту читая, приступил Умрихин, — что бывшая жена Челобаева в данное время находится в Риме...

Гостомыслов не проявил интереса.

— Она регулярно звонит из Рима... в советское учреждение, каковым, я надеюсь... является ваш институт... Ведет провокационные разговоры... — Умрихин долго, прямо, как следователь на допросе, глядел на как будто отсутствующего Гостомыслова. Тот ответил беспечно:

— Это их семейные дела.

— Нет! Мы это расцениваем как политическую провокацию!

— У нас на дворе не тридцать седьмой год. И не сорок девятый...

— Вот именно! Поэтому я и хочу вас поставить в известность, предупредить, так сказать. Пока что не более того...

— Вы хотите, чтобы я написал заявление об увольнении? Извольте! — Гостомыслов потянулся к стопке бумаги на столе.

— Да нет же, Александр Павлович! Поймите меня правильно, дело получило слишком похабный резонанс... На днях пришла посылка из Рима в адрес вашего института... набор антисоветской литературы...

— Какой? — искренне заинтересовался Гостомыслов.

— Вы лучше меня знаете, какой, — со значением сказал Умрихин. — Вы ездите за рубеж. Мы не ездим.

— Ваша воля кого выпускать.

— Не надо, Александр Павлович, я вас пригласил не для пикировки.

Какая литература? Полный набор мерзопакости, от Авторханова до Солженицына.

— Ну и что — посылка-то дошла?

Умрихин хмыкнул.

— Грош была бы нам цена, если бы мы пропускали эту идеологическую отраву. Так вот... Я вас, Александр Павлович, ставлю в известность как директора института: есть мнение, что в сложившейся ситуации Челобаев не может оставаться в должности ученого секретаря, он себя политически скомпрометировал. Это касается и вас.

— Так и снимайте, если есть мнение.

Умрихин осклабился, показывая желтые прокуренные зубы.

— Мы доводим до вашего сведения мнение обкома партии. Ваше дело как руководителя — решать. Но учтите, не посчитаться с нашим мнением мы не позволим.

— Это все? — поднялся уходить Гостомыслов.

— Дайте ваш пропуск, я отмечу, а то вас не выпустят. — Умрихин прищурился, как Ильич на портрете.

В институте Гостомыслов пригласил к себе ученого секретаря. Вошел Челобаев, поговорили о протечке труб в древлехранилище. Челобаев сказал, что надо действовать через обком, чтобы обком нажал на УНР, иначе они не почувствут.

— Позвоните по вертушке Умрихину, — предложил Челобаев.

— Знаешь, Толя, зачем я тебя позвал? — Гостомыслов погладил бороду, как гладят домашнее животное для успокоения собственных нервов. Челобаев потупился, выражая этим, что знает.

Саша пересказал Толе, что было услышано и сказано в кабинете Умрихина. У Толи обтянулись скулы, сузились глаза.

— Как у них говорят, я ставлю тебя в известность, — сказал директор, как бы отстраняясь от подчиненного. — Иди к ним сам, объясняйся.

Ученый секретарь поднял на директора полные змеиного яда глаза.

— Я могу идти?

— Иди.

Через десять минут Челобаев пришел к директору с листом бумаги в руках. Гостомыслов прочел.

— Может быть, Толя, лучше оформим творческий отпуск, поработаешь над докторской?..

— Ты их плохо знаешь, Саша, — Челобаев впервые сказал директору “ты”.

Директор взял ручку, написал в левом верхнем углу заявления: “В приказ”. Расписался.

Вскоре после этого случая дали ход и заявлению директора института: “...по собственному желанию, в связи с осенившей меня идеей”. В приказе по институту написали: “...в связи с переходом на научную работу”.

...Как-то Саша (уже не директор) поставил машину в гараж, обустроенный золотыми руками Кириллыча, хоть селись и живи... Зашел в дежурку. Кириллыч, оказалось, все знает про Сашу, все у него обдуманно.

— Я тебе, помнишь, Павлович, про твоего ученого секретаря говорил: худой мужик, на тебя стучит... Мне капитан дальнего плавания говорил, из девяносто пятого бокса, у него брат в органах работает... Он, говорит, ученый-то секретарь, крупно погорел, его баба заложила... Баба тоже, знаешь, Павлович, хороша, когда спит... Я тебе гараж деревом обшил, как каюту, сиди и думай, воздух хороший, никто не мешает. И верстак заделал, лучше нет, как досточку построгать, стружка смолой пахнет, успокаивает...

— Стучал и достучался... Бог шельму метит... — проворчал Гостомыслов, разливая по стаканам то, что принес.

— А ты, Павлович, не журись, что тебя с директоров сняли, — потетесский рассуждал Кириллыч. — Русскому человеку что-нибудь возглавлять, как шею в хомут, завсегда неподручно. Хоть контору, хоть государство... У нас что ни царь, бывало, то немецких кровей, а царицы и подавно. Что ни вождь, то еврей, то грузин, то хохол... Я тебя понимаю, Павлович, не в свои сани сел, покатался и будя.